



ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПЕТР СТЕПАНОВИЧ В ХЛОПОТАХ

I

День праздника был назначен окончательно, а фон Лембке становился все грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не все обстояло благополучно. Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке; в настоящую минуту надвигалась холера; в иных местах объявился сильный скотский падеж; все лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в народе все сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но все бы это, разумеется, было более чем обыкновенно, если бы при этом не было других более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея Антоновича.

Всего более поражало Юлию Михайловну, что он с каждым днем становился молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы, кажется, ему было скрывать? Правда, он редко ей

возражал и большею частию совершенно повиновался. По ее настоянию были, например, проведены две или три меры, чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления губернаторской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с тою же целию; люди, например, достойные суда и Сибири, единственно по ее настоянию были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать. Все это обнаружилось впоследствии. Лембке не только все подписывал, но даже и не обсуждал вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей. Зато вдруг начинал временами дыбиться из-за «совершенных пустяков» и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы! ей было не до того, и от этого произошло много недоумений.

Мне не стать, да и не сумею я, рассказывать об иных вещах. Об административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту административную сторону я устранию совсем. Начав хронику, я задался другими задачами. Кроме того, многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием, стоит только немножко подождать. Однако все-таки нельзя миновать иных разъяснений.

Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама (я очень сожалею о ней) могла достигнуть всего, что так влекло и манило ее (славы и прочего), вовсе без таких сильных и эксцентрических движений, какими она задалась у нас с самого первого шага. Но, от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач первой молодости, она вдруг, с переменой судьбы, почувствовала себя как-то слишком уж особенно призванною, чуть ли не помазанною, «над коей вспыхнул сей

язык», а в языке-то этом и заключалась беда; все-таки ведь он не шиньон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине всего труднее уверить женщину; напротив, кто захочет поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей взапуски. Бедняжка разом очутилась игрищем самых различных влияний, в то же время вполне воображая себя оригинальною. Многие мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий срок ее губернаторства. И что за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала *дать счастье* и примирить непримиримое, вернее же, соединить всех и всё в обожании собственной ее особы. Были у ней и любимцы; Петр Степанович, действуя, между прочим, грубейшею лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму: она все надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор! Как ни трудно это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие «лаской» на молодежь для удержания ее на краю — все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича (в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и других. Никто, никто из них не погибнет, она спасет их всех; она их рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей

справедливости, и даже, может быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя; а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разом.

Но все-таки требовалось, чтобы хоть к празднику Андрей Антонович стал посветлее. Надо было непременно его развеселить и успокоить. С этой целью она командировала к нему Петра Степановича, в надежде повлиять на его уныние каким-нибудь ему известным успокоительным способом. Может быть, даже какими-нибудь сообщениями, так сказать, прямо из первых уст. На его ловкость она вполне надеялась. Петр Степанович уже давно не был в кабинете господина фон Лембке. Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту, когда пациент находился в особенно тугом настроении.

II

Произошла одна комбинация, которую господин фон Лембке никак не мог разрешить. В уезде (в том самом, в котором пировал недавно Петр Степанович) один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира. Случилось это пред всею ротой. Подпоручик был еще молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощекий. Он не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову; ударил и изо всей силы укусил его в плечо; насилиу могли оттащить. Сомнения не было, что сошел с ума, по крайней мере обнаружилось, что в последнее время он замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечи. По количеству найденных у него книг можно было заключить, что человек он начитанный. Если б у него

было пятьдесят тысяч франков, то он уплыл бы, может быть, на Маркизские острова, как тот «кадет», о котором упоминает с таким веселым юмором господин Герцен в одном из своих сочинений. Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций.

Прокламации сами по себе тоже дело пустое и, по-моему, вовсе не хлопотливое. Мало ли мы их видали. Притом же это были и не новые прокламации: такие же точно, как говорили потом, были недавно рассыпаны в Х-ской губернии, а Липутин, ездивший месяца полтора назад в уезд и в соседнюю губернию, уверял, что уже тогда видел там такие же точно листки. Но поразило Андрея Антоновича, главное, то, что управляющий на Шпигулинской фабрике доставил как раз в то же время в полицию две или три пачки совершенно таких же точно листочков, как и у подпоручика, подкинутых ночью на фабрике. Пачки были еще и не распакованы, и никто из рабочих не успел прочесть ни одной. Факт был глупенький, но Андрей Антонович усиленно задумался. Дело представлялось ему в неприятно сложном виде.

В этой фабрике Шпигулиных только что началась тогда та самая «шпигулинская история», о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с три назад заболел там и умер один рабочий азиатскою холерой; потом заболело еще несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошеной гостьи. Но фабрику Шпигулиных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике и особенно в помещениях рабочих такая закоренелая нечистота, что если б и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович

энергически настоял на немедленном их исполнении. Фабрику очистили недели в три, но Шпигулины неизвестно почему ее закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой, после распоряжения начальства об очистке, уехал в Москву. Управляющий приступил к расчету работников и, как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчета справедливого, по глупости ходили в полицию, впрочем без большого крика и вовсе уж не так волновались. Вот в это-то время и доставлены были Андрею Антоновичу прокламации от управляющего.

Петр Степанович влетел в кабинет не доложившись, как добрый друг и свой человек, да и к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон Лембке угрюмо нахмурился и неприветливо остановился у стола. До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чем-то глаз на глаз с чиновником своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем, которого привез с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию Юлии Михайловны. Чиновник при входе Петра Степановича отступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже показалось, что он как-то знаменательно переглянулся с своим начальником.

— Ого, поймал-таки вас, скрытный градоначальник! — возопил, смеясь, Петр Степанович и накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию. — Это умножит вашу коллекцию, а?

Андрей Антонович вспыхнул. Что-то вдруг как бы перекосилось в его лице.

— Оставьте, оставьте сейчас! — вскричал он, вздрогнув от гнева, — и не смейте... сударь...

— Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь?

— Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я все не намерен отселе терпеть вашего *sans façon** и прошу вас припомнить...

* Бесцеремонности (фр.).

— Фу, черт, да ведь он и в самом деле!

— Молчите же, молчите! — затопал по ковру ногами фон Лембке, — и не смейте...

Бог знает до чего бы дошло. Увы, тут было еще одно обстоятельство помимо всего, совсем неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей Антонович дошел до такого расстройтва, что в последние дни про себя стал ревновать свою супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты.

— А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам по крайней мере вышел из этих официальностей... Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? — с некоторым даже достоинством произнес Петр Степанович. — Вот вам кстати и ваш роман, — положил он на стол большую, вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синею бумагой.

Лембке покраснел и замялся.

— Где же вы отыскиали? — осторожно спросил он с приливом радости, которую сдержать не мог, но сдерживал, однако ж, изо всех сил.

— Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно быть, как вошел, бросил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскиали, полы мыли, задали же вы мне, однако, работу!

Лембке строго опустил глаза.

— Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскиали, а я удержал, все читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и — недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, критиком никогда не бывал, но — оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это... это... это... черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, хохотал. Как вы, однако ж, умеете поднять на смех sans

que cela paraisse*! Ну, там в девятой, десятой, это все про любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что проводите? Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастья, приумножения детей, капиталов, стали жить-поживать да добра наживать, помилуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы... Ну да довольно, однако, прощайте. Не сердитесь в другой раз; я пришел было вам два словечка нужных сказать; да вы какой-то такой...

Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, успев, между прочим, мигнуть Блему, чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом.

— Я не *какой-то такой*, а я просто... всё неприятности, — пробормотал он нахмуясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу, — садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашею манерой... иногда при делах оно...

— Манеры у меня одни...

— Знаю-с, и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах... Садитесь же.

Петр Степанович разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги.

III

— Это в каких же вы хлопотах; неужто эти пустяки? — кивнул он на прокламацию. — Я вам таких листков сколько угодно натаascaю, еще в X-ской губернии познакомился.

* Не подавая вида (*фр.*).

— То есть в то время, как вы там проживали?

— Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой, топор наверху нарисован. Позвольте (он взял прокламацию); ну да, топор и тут; та самая, точнехонько.

— Да, топор. Видите — топор.

— Что ж, топора испугались?

— Я не топора-с... и не испугался-с, но дело это... дело такое, тут обстоятельства.

— Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе-хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации.

— Как это? — строго уставился фон Лембке.

— Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович; романы пишете. А тут надо бы по-старинному.

— Что такое по-старинному, что за советы? Фабрику вычистили; я велел, и вычистили.

— А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом.

— Бунт? Вздор это; я велел, и вычистили.

— Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек!

— Я, во-первых, вовсе не такой уж мягкий, а во-вторых... — укололся было опять фон Лембке. Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства, не скажет ли тот чего новенького.

— А-а, опять старая знакомая! — перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумажку под пресс-папье, тоже вроде прокламации, очевидно заграничной печати, но в стихах. — Ну, эту я наизусть знаю: «Светлая личность»! Посмотрим; ну так, «Светлая личность» и есть. Знаком с этой личностью еще с заграницы. Где откопали?

— Вы говорите, что видели за границей? — встрепенулся фон Лембке.

— Еще бы, четыре месяца назад или даже пять.

— Как много вы, однако, за границей видели, — тонко посмотрел фон Лембке. Петр Степанович, не слушая, развернул бумажку и прочел вслух стихотворение:

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа.
Но, гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданию,
Казням, пыткам, истязанью
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.

И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие края
Из царева каземата,
От кнута, щипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.

Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить вконец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать навеки мщенью
Церкви, браки и семейство —
Мира старого злодейство!

— Должно быть, у того офицера взяли, а? — спросил Петр Степанович.

— А вы и того офицера изволите знать?

— Еще бы. Я там с ними два дня пировал. Ему так и надо было сойти с ума.

— Он, может быть, и не сходил с ума.

— Не потому ли, что кусаться начал?

— Но позвольте, если вы видели эти стихи за границей и потом, оказывается, здесь, у того офицера...

— Что? замысловато! Вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете? Видите-с, — начал он вдруг с необыкновенною важностью, — о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены и никому не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что не мог иначе поступить. Те, которые писали Юлии Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном... Ну, это все, однако же, к черту, а я вам пришел сказать одну серьезную вещь, и хорошо, что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович; будет одна моя чрезвычайная просьба к вам.

— Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду, и, признаюсь, с любопытством. И вообще прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович.

Фон Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу за ногу.

— В Петербурге, — начал он, — я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого, например (он стукнул пальцем по «Светлой личности»), я умолчал, во-первых, потому, что не стоило говорить, а во-вторых, потому, что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперед забегать; в этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли обстоятельства... Ну, одним словом, это в сторону.

Ну-с, а теперь... теперь, когда эти дураки... ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках и от вас, я вижу, не укроется — потому что вы человек с глазами и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы между тем продолжают, я... я... ну да, я, одним словом, пришел вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности... Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны! — с грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь.

Одним словом, было видно человека прямого, но неловкого и неполитичного, от избытка гуманных чувств и излишней, может быть, щекоотливости, главное, человека недалекого, как тотчас же с чрезвычайною тонкостью оценил фон Лембеке и как давно уже об нем полагал, особенно когда в последнюю неделю, один в кабинете, по ночам особенно, ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны.

— За кого же вы просите и что же это все означает? — сановито осведомился он, стараясь скрыть свое любопытство.

— Это... это... черт... Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового... способного то есть понять... черт...

Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться.

— Вы, наконец, поймите, — продолжал он, — поймите, что, называя вам его имя, я вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли?

— Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться?

— То-то вот и есть, вы всегда подкосите вот этою вашею логикой, черт... ну, черт... эта «светлая личность», этот «студент» — это Шатов... вот вам и всё!

— Шатов? То есть как это Шатов?

— Шатов, это «студент», вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет; бывший крепостной человек, ну, вот пощечину дал.

— Знаю, знаю! — прищурился Лембке. — Но, позвольте, в чем же, собственно, он обвиняется и о чем вы-то, главнейше, ходатайствуете?

— Да спасти же его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом, может быть, был, — выходил из себя Петр Степанович. — Ну, да я вам не обязан отчетами в прежней жизни, — махнул он рукой, — все это ничтожно, все это три с половиной человека, а с заграничными и десяти не наберется, а главное — я понадеялся на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами покажете дело в настоящем виде, а не как бог знает что, как глупую мечту сумасбродного человека... от несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый государственный заговор!..

Он почти задыхался.

— Гм. Вижу, что он виновен в прокламациях с топором, — почти величаво заключил Лембке, — позвольте, однако же, если б один, то как мог он их разбросать и здесь, и в провинциях, и даже в X-й губернии и... и, наконец, главнейшее, где взял?

— Да говорю же вам, что их, очевидно, всего-на-всё пять человек, ну, десять, почему я знаю?

— Вы не знаете?

— Да почему мне знать, черт возьми?

— Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников?

— Эх! — махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя, — ну, слушайте, я вам всю правду скажу: о прокламациях ничего не знаю, то есть ровнешенько ничего, черт возьми, понимаете, что значит ничего?.. Ну, конечно, тот подпоручик,

да еще кто-нибудь, да еще кто-нибудь здесь... ну и, может, Шатов, ну и еще кто-нибудь, ну вот и все, дрянь и мизер... но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение — его, его собственное сочинение и за границей через него отпечатано; вот что я знаю наверно, а о прокламациях ровно ничего не знаю.

— Если стихи — его, то, наверно, и прокламации. Какие же, однако, данные заставляют вас подозревать господина Шатова?

Петр Степанович, с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него записку.

— Вот данные! — крикнул он, бросив ее на стол. Лембке развернул; оказалось, что записка писана, с полгода назад, отсюда куда-то за границу, коротенькая, в двух словах:

«“Светлую личность” отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу; печатайте за границей.

Ив. Шатов».

Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько багровый взгляд, иногда особенно.

— То есть это вот что, — рванулся Петр Степанович, — значит, что он написал здесь, полгода назад, эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь — и потому просит напечатать за границей... Кажется, ясно?

— Да-с, ясно, но кого же он просит? — вот это еще не ясно, — с хитрейшею иронией заметил Лембке.

— Да Кириллова же, наконец; записка писана к Кириллову за границу... Не знали, что ли? Ведь что досадно, что вы, может быть, предо мною только прикидываетесь, а давным-давно уже сами знаете про эти стихи, и всё! Как же очутились

они у вас на столе? Сумели очутиться! За что же вы меня испытываете, если так?

Он судорожно утер платком пот со лба.

— Мне, может, и известно нечто... — ловко уклонился Лембке, — но кто же этот Кириллов?

— Ну да вот инженер приезжий, был секундантом у Ставрогина, маньяк, сумасшедший; подпоручик ваш действительно только, может, в белой горячке, ну, а этот уж совсем сумасшедший, — совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту; я еще в Швейцарии да на конгрессах нагляделся.

— Там, откуда управляют здешним движением?

— Да кто управляет-то? три человека с полчеловеком. Ведь, на них глядя, только скука возьмет. И каким это здешним движением? Прокламациями, что ли? Да и кто наберенован-то, подпоручики в белой горячке да два-три студента! Вы умный человек, вот вам вопрос: отчего не вербуются к ним люди значительнее, отчего всё студенты да недоросли двадцати двух лет? Да и много ли? Небось миллион собак ищет, а много ль всего отыскивали? Семь человек. Говорю вам, скука возьмет.

Лембке выслушал со вниманием, но с выражением, говорившим: «Соловья баснями не накормишь».

— Позвольте, однако же, вот вы изволите утверждать, что записка адресована была за границу; но здесь адреса нет; почему же вам стало известно, что записка адресована к господину Кириллову и, наконец, за границу и... и... что писана она действительно господином Шатовым?

— Так достаньте сейчас руку Шатова да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и показал.

— Вы, стало быть, сами...



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

